

3. С ДРУГОГО БЕРЕГА



Б. ЗАЙЦЕВ

Побежденный

Я встретил Блока в первый раз весной 1907 года, в Петербурге, на собрании «Шиповника»¹. Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик — юноши, пажа, поэта — все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто — и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя — холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).

Июль 1908 года мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданиях — и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному-полуестественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил, как бы покачиваясь. И на сердце невесело — такое впечатление производил. Мы ездили

в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренне, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.

* * *

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки — искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала — и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба — в его стихах. — А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих собак»² и театральных студий был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке — над болотом³.

* * *

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем⁴, я встретил Блока — и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье — рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского — спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью⁵. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, — теперь развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге — там и вел то сражение, которое есть — земной наш путь.

Ударил война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» — одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительной песней Гаэтана. Пьеса — в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уже в революцию, шел «Соловьиный сад» — прощание с прежним — наконец, «Двенадцать».

Ясно помню вечер, в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

— Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» — Другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей, и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к *высшему, разрешить...* чем не задача?

Я принялся читать. А позже — возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали, и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой.



— Наш, наш! — завопили одни, и кровавыми объятиями стали «обымать». — Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента... Ну, понятно, у самого пережитки... в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос... старый словарь... Но это первые шаги, а там он разработается.

Другие отходили — некоторые резко, иные с грустью.

— Блок стал большевиком! Такой поэт... и с *ними!*

Ни те, ни другие сполна правы не были, а основания имели. Действительно, двусмысленна поэма.

Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с «кровавым флагом» — есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет — хоть и слепых — какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих» — и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу.

Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А, пожалуй, даже и мистерии? Какое грандиозное *разрешение* Сам Христос, за мир свою кровь изливший, сам омоет прегрешения?

Все это хорошо, но Блок такой поэмы *не* написал. Быть может, он *хотел бы* написать, — не смог.

Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске» (но еще сильнее), — ибо нет духа животворящего. «Скучно!» — так кончается восьмая глава. Как не быть скучно в атмосфере смерти?

«И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидеши во царствие Твое!»

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»⁶.

Это Священное Писание. Но Достоевский не священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие⁷, — только Евангелие — никакого Христа олеографического нет — и это трогает, и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось — и заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?

Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!

А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма кого-нибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна, потому-то более умные из «тех» должны *вполне* от нее отрешиваться, она полна того маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя, — даже человека убить.

Мертва духовно, и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. *Показание* на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении — на давно наседавшего врага.

— Любви, любви! И разрешения! И воздуха!

Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловиный сад», а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту — Блоку. И вот явилось «человечество», и «революция». Отдаться бы им!

Как будто бы отдался. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и *мелькнуло* разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы... из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение...

Дело простое.

Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос *мелькнул* ему, призрачный и туманный, потому что *зова* настоящего в нем не было — исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная знакомка.

И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всеу помянуто, и что есть — «Двенадцать».

* * *

Вначале Блок читал свою поэму часто⁸. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил:

— У меня Христос компилятивный.

Что этим хотел сказать, не очень ясно. Вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.

Весной 1920 года приезжал Блок в Москву. Под аккомпанемент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее⁹. Но «Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:

— Я больше этой вещи не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надорвано его здоровье, — он не пишет, окончательно во всем разуверился и едва жив. Надо сказать, что революция подорвала Блока сильно. Он таскал наверх дрова, дурно питался, холодал — в этом делил судьбу почти что всех. Но и особенный мрак над ним сгущался, не зависящий от дров или цинги.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу (печатавшуюся в самом начале революции)¹⁰. Получил длинное письмо¹¹, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме, — и тронул. Точно он прощался и о чем-то сожалел, недоделанном, и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). Я помню, была фраза: «Давно мы с вами встретились, да все были врозь, не пришлось сойтись ближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уж поздно».

Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрович: поздно было уж сходитьсь.

* * *

В последний раз Блок приезжал в Москву весной 1921 года¹². Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали (в Книжных лавках писателей). Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных)¹³.

Сколько мне помнится, эта глупость не удалась. Но все равно Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.

Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его¹⁴.

Союз наш — старый особняк. Дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду¹⁵. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удоб-

ными, столом огромным, тоже книжными шкапами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. «Вот человек, — казалось, — из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжело болен. Но думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати¹⁶. Там было проще, и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:

— Мертвец! Мертвец!

Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano¹⁷. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии — и как далеко это было от Италии!

* * *

Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) — было поздно¹⁸. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей, появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз Писателей приглашает на панихиду в церкви Николая на Песках, в 2 1/2 часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.

В 2 ¹/₂ часа дня о. Василий, в сослужении с о. Ник. Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском — по «безвременно скончавшемся» поэте¹⁹.

* * *

Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажинисты — устроили издевательские поминки, под непристойным названием)²⁰. Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок и ничем активным не обладает. Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!). Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?

По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что, пожалуй, не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал *сам* в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.

И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. набросок пьесы из жизни Христа («Русский современник») ²¹. Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св. Петре «дурак Симон с отвислой губой» или «все в нем (Иисусе) значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» — все-таки он *написал*. Это, скажем, не литература. Но... что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в каком настроении она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать» или блоковский, «ни женщина, ни мужчина», у которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок *пристегнул* к своему писанию. Вот что значит-то: «компилятивный».

Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока — погубившей его.



Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:

Уж не мечтать о подвигах, о славе,
 Все миновалось, молодость прошла.
 Твое лицо, в его простой оправе,
 Своей рукой убрал я со стола²².

Куда бы ни зашел Блок и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил — в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтоб именно такой, которому дано не скупое, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже трагический. И Данте находился *in una selva oscura*²³, и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам *сильно любил*. Ему и была дана помощь. В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась та Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.



Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрович. Это край, и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко — вам, автору «Розы и Креста».

Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий, голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так *один* в горах, то... часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно, и ненужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, вой-

нами и бойнями,— взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте,— и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б, раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все — души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.

Domaine de la Pugette.
Пасха 1925 г.

